

**БИБЛИОТЕКА КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

И дольше века длится день  
Плаха

Москва  2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
А36

Серия «100 главных книг»

Оформление *Н. Ярусовой*

Серия «Библиотека всемирной литературы»

Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художника *Франца Марка*

Фотография на корешке суперобложки:

*Лев Иванов* / РИА Новости

Серия «Шедевры мировой классики»

Оформление *А. Саукова*

### **Айтматов, Чингиз Торекулович.**

А36      И дольше века длится день ; Плаха / Чингиз Айтматов. —  
Москва : Издательство «Э», 2016. — 640 с.

ISBN 978-5-699-87210-7 (ШМК)

ISBN 978-5-699-87279-4 (100 ГК)

ISBN 978-5-699-81748-1 (БВЛ)

Вплетение мифологии в реальную жизнь в произведениях Ч. Айтматова создает особый неповторимый авторский стиль. Всемирно известный киргизский писатель исследует проблемы человека в современном мире, утрачивающего связь со своим родом, традициями, грозящие человеку разрушительными последствиями. Автора прежде всего интересует вопрос о пути цивилизации, в которой главной движущей силой становится власть денег, а человечность, доброта, милосердие становятся абстрактными понятиями, превращающимися в пустые слова. Мудрость и философичность произведений Айтматова неизменно остаются привлекательными для читателя.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-87210-7  
ISBN 978-5-699-87279-4  
ISBN 978-5-699-81748-1

© Айтматов Ч.Т., наследники, 2016  
© Оформление.  
ООО «Издательство «Э», 2016

## *Содержание*

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ...

Р о м а н

7

ПЛАХА

Р о м а н

367



И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ





И книга эта — вместо моего тела,  
И слово это — вместо души моей...

*Нафекаци. Книга скорби. X век*

## I

Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам. Выслеживая запутанные до головокружения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, той темнеющей равнопротяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжело содрокая землю окрест, проносились громыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.

К вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля и, свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных, густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.

Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту чудовищную силу землепроминающей тяжеловесности и яростности движения составов и все-таки, преодолевая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.

Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях...

В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то невнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежащий. То была игра воздушных течений, то было к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывая в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затыкать от смутного предощущения некой общей беды. Но голод заглушал даже этот предупреждающий сигнал природы.

Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.

В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени. По ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скучная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезла кто куда — кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира...

С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Выждала, вслушиваясь, и потрусила к железнодорожной насыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль полотна, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок — разило дурманом. После того как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.

А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встреча-

лось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.

Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чахлом свете высокой мглистой луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лиса нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с пути. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чувала — вот-вот налетит на находку, хотя неотвратно надвигались издали всевозрастающим грозным приступом железный лязг и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.

Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног...

Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженный состав.

Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом, с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробивался, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под скоростного товарняка (то следовал зеленой улицей литерный состав — поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку, в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:

— Ты чего?

Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял — так и думал.

— Пошли сюда от ветра. — Он повел ее в будку.

Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в маленькой, начисто выбеленной железнодорожной будке вдруг резко обнаружил никогда уже не обратимые морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметававшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резали сердце. «Эх, как постарела ты у меня», — пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие

годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала — только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом.

— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они вошли в будку.

— И ты садись, — сказала она мужу.

Они сели.

— Что случилось?

— Казангап умер.

— Когда?

— Да вот только что заглянула — как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже. — Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневшие и истончившиеся веки, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. — Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер — некому, оказалось, глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог подумать! Так и помер человек... — Она собиралась сказать — как собака на дороге, но промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.

Слушая жену, Буранный Едигей — так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, — сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?

— Что будем делать теперь? — промолвила жена.

Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.

— Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хорошо будем. — Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. — Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А сейчас слушай меня.

— Слушаю.

— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, не важно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал

здесь, и никакую собаку ни за какие деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его — волос не хватит на голове... Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай...

— Слушаю.

— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу — восемь домов, по пальцам перечесть... Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.

— А если ругаться начнут?

— Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой!

— Что еще?

— Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймерден сидит диспетчером, передай ему, что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!

— Скажу, скажу, — отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею: — А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер...

При этих словах Едигей нахмурился отчужденно, еще больше посуровел. Не отозвался.

— Какие ни есть, но дети есть дети, — продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.

— Да знаю, — махнул он рукой. — Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил!

— Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься...

— А я что, мешаю? Пусть едут.

— А как сын не поспеет из города?

— Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять, что к чему...

— Ну, если так, то еще ладно, — неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила: — Хорошо бы с женой заявился, все-таки свеakra хоронить, а не кого-нибудь...

— Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.

— Да, так-то оно, конечно, — все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.

И они замолчали.

— Ну, ты не задерживайся, иди, — напомнил было Едигей.

У жены, однако, было еще что сказать:

— А дочь-то его — Айзада горемычная — на станции с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.

Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.

— Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого... До Айзады тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно — и от Айзады, и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается... Иди и делай, как я сказал.

Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:

— Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, а потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме, и рядом никого, как можно... Так и скажи...

И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор — к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии Укубалу, точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не сообразишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.

«Стало быть, старость уже на плечах сидит, — подумалось ему. — Вот и дожили — старик и старуха!» И хотя здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый — шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», — сказал Едигей себе не без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях